

3. Авторитарный высокий модернизм

“И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь.

Евгений Замятин. Мы

“Современная наука, которая сместила и заменила Бога, удалила его как ограничение свободы. Это создало вакансию: канцелярия высшего законодателя и управителя, проектировщика и администратора мирового порядка была теперь ужасающе пуста. Ее надо было заполнить... Пустота трона в течение эры модерна привлекала внимание визионеров и авантюристов. Мечта о всеобъемлющем порядке и гармонии оставалась такой же яркой, как всегда, но теперь ее осуществление казалось ближе, чем когда-либо, более, чем когда-либо, в пределах человеческих возможностей. Теперь во власти смертных землян было привнести ее в мир и обеспечить его господство.

Зигмунт Бауман. Современность и холокост

Все рассмотренные нами государственные упрощения изображают действительность картографически. Иными словами, они предназначены для привлечения внимания только к тем аспектам многосложного мира, которые имеют сиюминутный интерес для изготовителя карты. Жаловаться, что в картах опущены нюансы и детали, не имеет смысла, ведь и без этой информации карта выполняет свое предназначение. Если на ней зафиксировать каждый светофор, каждую выбоину, каждое здание, каждый кустик и каждое дерево в каждом парке, карта станет столь же большой и сложной, как сам город, который она изображает[204]. И это, конечно, скажется на цели картографии, которая по своей природе должна обобщать и суммировать. Карта — инструмент, предназначенный для выполнения определенной цели. Мы можем считать саму цель благородной либо преступной, но карта только выполняет свое предназначение или не в состоянии делать это.

Мы уже отмечали очевидную способность карт не только подытоживать, но и преобразовывать то, что они должны просто отображать. Этой способностью, конечно, обладает не сама карта, в власть, которой обладают смотрящие на нее[205]. Частная корпорация, стремящаяся максимально увеличить воспроизводство древесины и прибыль от нее, будет изображать свой мир согласно этой логике максимизации и будет использовать всю свою власть, чтобы доказать, что логика ее карты справедлива. Государство не имеет монополии на утилитарные упрощения. Но оно во всяком случае стремится к монополии на законное использование силы. Это делает понятным, почему с XVII в. до наших дней карты, имеющие наибольшую преобразовательную силу, изобретались и применялись таким мощным учреждением в обществе, как государство.

До недавнего времени способность государства навязывать обществу собственные схемы была ограничена его довольно скромными претензиями и ограниченными возможностями. Хотя утопические стремления к совершенному социальному контролю можно найти у мыслителей Просвещения, в монашеских и военных практиках, европейское государство XVIII в. в значительной степени оставалось всего лишь добывающим механизмом. Соответствует истине, что государственные чиновники, особенно при абсолютизме, наносили на карты намного больше поселений, землевладений, производственных и торговых предприятий, чем их предшественники, и что все они лучше извлекали доход, зерно и призывников из сельской местности. Но была некая ирония в их требовании абсолютной власти. Они испытывали недостаток в инструментах принуждения, в мелкоячеистой административной сетке, в детальном знании, которое позволило бы им более решительно экспериментировать с перестройкой общества. Чтобы дать полную волю их растущим амбициям, требовалось еще большее высокомерие, более мощные государственные машины, которые соответствовали бы задаче, и общество, которым они смогли бы легко завладеть. В середине XIX в. на Западе и в начале XX в. в других местах эти условия были налицо.

Я полагаю, что многие из наиболее трагических эпизодов государственного развития в конце XIX и в XX в. сопровождала особо губительная комбинация из трех элементов. Первый из них — это административное рвение, стремящееся навести порядок в природе и обществе, стремление, наблюдаемое в научном лесоводстве, но поднятое на более высокий и претенциозный уровень. Для его определения подходящим термином кажется «высокий модернизм»[206]. Этого стремления придерживались многие представители разных политических идеологий. Его главными носителями и выразителями были ведущие инженеры, проектировщики, технократы, администраторы высокого уровня, архитекторы, ученые и мыслители. Если вообразить пантеон или зал славы представителей высокого модернизма, там почти наверняка были бы имена графа Анри де Сен-Симона, Ле Корбюзье, Вальтера Ратенау, Роберта Макнамары, Роберта Мозеса, Жана Монне, шаха Ирана, Дэвида Лилиенталя, Владимира Ленина, Льва Троцкого и Джулиуса Ньерере[207]. Эти люди хотели пересмотреть и рационально перестроить все аспекты социальной жизни, чтобы улучшить условия существования человека. Как убеждение, высокий модернизм не был исключительной собственностью какого-нибудь политического направления; у него были, как мы увидим, и правые, и левые варианты. Второй элемент — безудержное использование власти современного государства как инструмента для реализации этих проектов. Третий элемент — ослабленное, обессиленное гражданское общество, которое не имеет

возможности сопротивляться претворению этих планов в жизнь. Идеология высокого модернизма заставляет желать такой перестройки; современное государство обеспечивает средства для действий в соответствии с этим желанием; выведенное из строя гражданское общество выравнивает социальный ландшафт, чтобы строить эти утопические (или скорее антиутопические) общества.

Обратимся — коротко — к предпосылкам высокого модернизма. Здесь важно отметить, что многие грандиозные бедствия XX в., организованные государством, обусловлены работой правителей над грандиозными и утопическими планами переустройства общества. Можно считать, что утопизм — это высокий модернизм справа, чему самым показательным примером является, конечно, нацизм[208]. Массивная социальная перестройка при апартеиде в Южной Африке, планы шаха Ирана модернизации своей страны, организация деревень во Вьетнаме и гигантские схемы позднеколониального развития (например, схема Гезира в Судане) также могут служить примерами правого утопизма[209]. Но все же невозможно отрицать, что многое из тотальных, насильственно проведенных государством социальных перестроек двадцатого столетия было результатом работы прогрессивных, часто революционных элит. Почему?

Ответ, я полагаю, заключается в том, что эти деятели, пришедшие к власти на волне всеобъемлющей критики существующего общества и желания преобразовать его, принятые народом (по крайней мере, первоначально), получившие полномочия на преобразования, конечно, имели самые прогрессивные намерения. Они хотели использовать власть, чтобы в корне изменить привычки людей, их работу, образ жизни, моральный облик и взгляд на мир[210]. Они развернули то, что Вацлав Гавел назвал «арсеналом всеобъемлющей социальной перестройки»[211]. Утопические стремления сами по себе не опасны. Как заметил Оскар Уайлд, «на карту мира, на которой нет Утопии, не стоит даже смотреть — на ней нет единственной страны, где всегда обитает человечность»[212]. Но когда утопическая мечта насаждается правящей властью, пренебрегающей демократией, попирающей гражданские права, когда государственная власть использует самые невероятные средства для ее достижения, тогда искажается образ самой утопии. Если это происходит жестоко, с нарушением человеческих прав, значит, общество, подвергнутое таким утопическим экспериментам, не способно сопротивляться.

Что же такое тогда высокий модернизм? Это наиболее мощная (можно даже сказать, чрезмерно мускулистая) версия уверенности в научно-техническом прогрессе, которая связана с индустриализацией в Западной Европе и в Северной Америке приблизительно с 1830 г. до Первой мировой войны. Высокий модернизм зиждется на уверенности в вечном прогрессе, связанном с развитием научно-технического знания, расширением производства, рациональным устройством общества, возрастающим удовлетворением человеческих потребностей и, не в последнюю очередь, с возрастающим контролем над природой (включая человеческую природу), обязанным научному пониманию естественных законов[213]. Таким образом, *высокий* модернизм есть особая, подчеркнутая уверенность в перспективах применения технического и научного прогресса — обычно при посредстве государства — в каждой области человеческой деятельности[214]. Если, как мы видели, упрощенные, утилитарные *описания* государственных чиновников благодаря вмешательству государственной власти приводили факты в соответствие с их представлениями, тогда

можно сказать, что высокомодернистское государство начиналось с *детальных предписаний* новому обществу и решительно намеревалось ввести их.

В конце XIX в. на Западе трудно было не быть модернистом того или иного толка. Кто мог не увлечься, даже не испытывать благоговейного ужаса перед огромными преобразованиями, вызванными наукой и промышленностью[215]? Любой, кому тогда было, скажем, 60 лет в Манчестере, в Англии, был свидетелем революции в производстве хлопка и текстиля, роста фабричной системы, использования пара и других новых механических устройств в производстве, замечательных крупных достижений в металлургии и транспорте (особенно ярким примером могут служить железные дороги) и появления дешевых товаров массового производства. Ошеломляющие достижения прогресса в химии, физике, медицине, математике и инженерном деле заставляли любого человека, даже только слегка соприкоснувшегося с миром науки, ожидать непрерывного потока новых чудес (вроде двигателя внутреннего сгорания и электричества). Беспрецедентные преобразования XIX в. многих оставили на обочине этой дороги, но даже жертвы прогресса не могут не признать, что было нечто весьма революционное в этих преобразованиях. Все это сегодня звучит довольно наивно — мы стали более трезвыми, лучше понимаем пределы технологического прогресса и то, какую цену за него приходится платить, мы приобрели скептицизм эпохи постмодерна по отношению к любым обобщающим соображениям. Однако эта наша новая позиция не учитывает ту огромную роль, которую модернистские предположения играли в нашей жизни, в частности, тот огромный энтузиазм и революционную гордость, которые были неотъемлемым свойством высокого модернизма.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 20:27:18

Зверобой обновил 12 апреля 2025 20:29:13